

DOI 10.15826/qr.2019.2.398  
УДК 94(470)"17"+355+364.27

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХ, ИЛИ СЛУЧАЙ МАЙОРА АПУХТИНА\*

**Александр Каменский**

Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»,  
Москва, Россия

## STATE FEAR, OR THE CASE OF MAJOR АPUKHTIN\*\*

**Alexander Kamenskii**

Higher School of Economics,  
Moscow, Russia

This article is part of a project studying the phenomenon of suicide in eighteenth-century Russia. It is based on the investigation of Major Vasily Apukhtin's death in 1731. The investigation materials demonstrate that the major committed suicide by drowning himself in his own well. According to the testimonies of his servants, relatives, and acquaintances, Apukhtin was insane: the reason for his insanity (or, rather, the circumstance that aggravated his mental illness) was fear of being taken to court as a result of a pending lawsuit. An ordinary property trial, inadequately perceived by the suicide, made him terrified of being declared unreliable, which could therefore mean torture as part of the criminal proceedings. This circumstance allows the author to consider Apukhtin's case within the framework of the concept of "state fear", first introduced into historiography by Evgeny Anisimov. Analysis of the causes of the mental agony which the unfortunate major was experiencing through the prism of this concept seems helpful when considering many other cases that led numerous Russians of the eighteenth century to do the same. What is meant by "state fear"? A wide range of documents suggests that it was a fear of the inevitable physical torment that accompanied the criminal procedure of the time, together with fear of a collision with

---

\* Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2019 г.  
\*\*Citation: Kamenskii, A. (2019). State Fear, or The Case of Major Apukhtin. In *Quaestio Rossica*. Vol. 7, № 2. P. 630–647. DOI 10.15826/qr.2019.2.398.

Цитирование: Kamenskii A. State Fear, or The Case of Major Apukhtin // *Quaestio Rossica*. Vol. 7. 2019. № 2. P. 630–647. DOI 10.15826/qr.2019.2.398 / Каменский А. Государственный страх, или Случай майора Апухтина // *Quaestio Rossica*. Т. 7. 2019. № 2. С. 630–647. DOI 10.15826/qr.2019.2.398.

a soulless retaliatory state machine that did not give the accused any opportunity to justify themselves; it was a feeling of complete hopelessness. This fear was inherent in everyone without exception, regardless of class status or place of residence, although more often its suicidal consequences affected the least protected, the lower strata of the population. It is noteworthy that for serfs, the state's punitive power was personified by their masters. The conclusion that state fear is a phenomenon which formed because of changes in ideas about the state looks crucial. The Moscow monarchy with its patrimonial way of life and the identification of the state with the sovereign was more beneficial for the psyche of its subjects. The changes that took place in Russia during Peter the Great's transformations created a new image of the state as an abstract and invisible entity which was nevertheless constantly present in the life of every private person, a hostile reality. The very idea of facing this force as an accused often led people to commit suicide.

*Keywords:* social history; 18<sup>th</sup>-century Russia; suicide, state; torture.

Статья написана в рамках проекта по изучению феномена самоубийства в России XVIII в. В ее основе – следственное дело по факту гибели майора Василия Апухтина в 1731 г. Как явствует из материалов расследования, майор покончил жизнь самоубийством, утопившись в собственном колодце. По многочисленным свидетельствам прислуги, родственников и знакомых, В. Апухтин был умалишенным, а причиной его помешательства, или скорее обстоятельством, усугубившим душевный недуг самоубийцы, стал страх предстать перед судом в результате ведшейся им тяжбы. Вполне заурядный имущественный процесс, неадекватно воспринятый самоубийцей, породил в его сознании ужас перед возможностью признания неблагонадежным, а значит, достойным пытки в рамках уже уголовного производства. Это обстоятельство позволяет рассмотреть эпизод Апухтина в рамках понятия «государственного страха», впервые введенного в историографию Е. Анисимовым. Анализ причин душевных терзаний несчастного майора, приведших к самоубийству, через призму этого понятия оказывается продуктивным для оценки многих других случаев, обрекавших русских людей XVIII столетия на такой же финал. Что же следует понимать под «государственным страхом»? Широкий круг исследованных документов позволяет утверждать, что это страх перед неизбежными физическими мучениями, сопровождавшими уголовный процесс того времени, в сочетании со страхом столкновения с бездушной карательной государственной машиной, не дававшей никакой возможности оправдаться; ощущение полного бессилия и безысходности. Этот страх оказывался присущ абсолютно всем, вне зависимости от их сословной принадлежности или места проживания, хотя чаще его суицидальные последствия сказывались на наименее защищенных слоях населения. Примечательно, что для крепостных карательную силу государства, вызывавшую страх, олицетворяли их душевладельцы. Принципиально важным выглядит вывод о том, что «государственный страх» – это явление, сформировавшееся

в результате изменений представлений о самом государстве. Московская монархия с ее вотчинно-патриархальным укладом, отождествлением государства с персоной государя оказывалась более щадящей для психики подданных. Перемены, пришедшие в Россию с эпохой петровских преобразований, сформировали новый образ государства как абстрактной, невидимой, но постоянно присутствующей в жизни каждого частного человека враждебной реальности. Сама мысль о возможности предстать перед этой силой в качестве обвиняемого нередко подталкивала к самоубийству.

*Ключевые слова:* социальная история; Россия XVIII в.; самоубийство; государство; пытка.

Кто навсегда утратил веру в счастье,  
 Томясь, молил отрады у людей  
 И не нашел желанного участия,  
 И потерял изменчивых друзей;  
 Чей скорбный стон, стесненный горький шепот  
 В тиши ночей мучительно звучал...  
 Ужели в том таиться должен ропот?  
 Ужели тот, о, Боже! не страдал!

*А. Н. Апухтин*

Известный русский поэт XIX в. Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893), по утверждению всё знающей Википедии, «родился в небогатой дворянской семье», что, однако, не помешало ему по окончании Императорского училища правоведения, согласно тому же источнику, вести жизнь «золотой молодежи». Впрочем, богатство – вещь относительная, а между тем род поэта известен по крайней мере с XVI в., и его предки служили по московскому списку в стольниках, стряпчих и воеводах, а сам Апухтин был владельцем имения в Козельском уезде Калужской губернии, где у него гостил П. И. Чайковский. Как и у всякого порядочного человека, у Алексея Николаевича был прапрапрадед. Минимум сведений о нем приведен в родословной росписи Апухтиных, опубликованной В. В. Руммелем: «Василий Иванович, † утонул в 1731. Ж. 1) Анисья N. N. 2) Пелагея Ивановна N. N., пережила мужа. От 1-го брака 1 сын» [Руммель, с. 79]. Примечательно, что за исключением маленьких мальчиков, это единственный из значащихся в росписи мужчин рода Апухтиных, о чьей службе в ней нет никаких сведений, ну и, конечно, единственный, чья жизнь оборвалась подобным образом. Вполне вероятно, что более подробные сведения об этом предке поэта просто не сохранились, но нельзя исключать, что за подобной лапидарностью скрываются и причины иного рода. Во всяком случае, на такие предположения

наталкивают материалы довольно объемного архивного дела, посвященного расследованию обстоятельств его гибели и сохранившегося в составе фонда Сысского приказа Российского государственного архива древних актов [РГАДА. Ф. 372 (Сысской приказ). Оп. 1. Д. 38]<sup>1</sup>. Из этого дела мы узнаем, что в год своей гибели Василий Иванович Апухтин был отставным майором, что его вторая жена Пелагея Ивановна была дочерью капитана Азовского полка князя Ивана Семеновича Волконского (к этому времени уже умершего), и что, помимо сына, у предка поэта была еще дочь Авдотья, которая в 1731 г. была замужем за солдатом лейб-гвардии Преображенского полка Никитой Арсеньевым. Но что самое главное, из дела выясняется, что Апухтин не просто утонул, а утопился. И не где-нибудь, а в колодце на собственном московском дворе.

История самоубийств в России – мало или почти не изученная тема. Обращавшиеся к ней немногочисленные исследователи концентрировали свое внимание преимущественно на XIX–XX вв. и на культурологических аспектах этого явления [Лярский; Паперно; Полотовская; Чхартишвили; Pinnow]. Что же касается XVIII столетия, то помимо простых упоминаний о случаях самоубийств [Курукин, с. 354; Марасинова, с. 180–181, 201–202]<sup>2</sup>, нескольких случаев, описанных в моей книге 2006 г. [Каменский, 2006, с. 221–228], а также работ, посвященных известным самоубийцам И. М. Опочинину и М. В. Сушкову, оставившим пространные объяснения своего поступка [Трефолов, с. 224–226; Ермолин, Севастьянова, с. 37–39, Франье, с. 147–167], единственным специально посвященным этому периоду исследованием, хотя и в рамках более широкого хронологического контекста, является книга Сьюзен Моррисей [Morrissey]. Исследовательница подробно остановилась на характеристике соответствующего законодательства, причинах самоубийств и отношении к ним государства и общества. Ее книга содержит немало интересных наблюдений, однако сведения о примерно сотне случаев, на которых она основывает свои выводы и почерпнутых ею как из опубликованных, так и из архивных источников, относятся к самому концу столетия и лишь к самоубийствам, произошедшим в Москве и Петербурге. Между тем работа в РГАДА с архивными фондами различных государственных учреждений позволила сформировать базу данных, насчитывающую сведения о примерно 400 кейсах, охватывающих различные регионы страны и все XVIII столетие. Детальный анализ этих данных не входит в задачи данной статьи, поэтому остановлюсь вкратце лишь на нескольких моментах, необходимых для того, чтобы лучше разобраться в деле В. И. Апухтина.

С начала XVIII в. дела о самоубийствах, как и об иных проявлениях девиантного поведения (таких, в частности, как прелюбодея-

<sup>1</sup> Благодарю Е. В. Акельева за указание на это дело.

<sup>2</sup> Упоминания случаев более раннего времени см.: [Бошковска].

ние, нарушение брачного законодательства, сексуальные девиации), постепенно переходили из ведения церковных в ведение светских властей, что получило подкрепление в петровском законодательстве. Воинский артикул 1715 г. однозначно квалифицировал самоубийство как уголовное преступление и предписывал:

Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу.

Толкование. А ежели кто учинил в безпамятстве, болезни, в меленхолии, то оно тело в особливом, но не в безчестном месте похоронить. И того ради должно, что пока такой самоубийца погребен будет, чтоб судьи наперед о обстоятельстве и притчинах подлинно уведомились, и чрез приговор определили б, каким образом его погребсти.

Ежели салдат пойман будет в самом деле, что хотел себя сам убить, и в том ему помешали, и того исполнить не мог, а учинит то от мучения и досады, чтоб более не жить, или в безпамятстве и за стыдом, оный, по мнению учителей, прав с безчестием от полку отогнан быть имеет. А ежели ж, кроме вышепомянутых притчин, сие учинил, онаго казнить смертью (гл. 19, артикул 164).

С. Моррисей отмечает, что «особые причины, по которым самоубийство было включено в уголовное право, остаются неясными, но, конечно, был важен контекст продолжавшейся борьбы со староверами с учетом их массового мученичества» [Morrissey, p. 43]. Соглашаясь с этим, стоит добавить, что формирование в результате петровских реформ регулярного государства, во-первых, в принципе предполагало расширение его функций по контролю за каждым подданным, а во-вторых, ставило перед ним цель сбережения жизни всякого человека, необходимой для исправной работы государственного механизма. Добровольный уход из жизни воспринимался теперь не только как нарушение Божественных заповедей, но и как уклонение от выполнения долга по отношению к государству, как нарушение монопольного права государства на распоряжение жизнью и телом человека.

На практике, однако, первое, что интересовало власть, было установление самого факта самоубийства и исключение его криминального характера. Поэтому тело самоубийцы не разрешалось хоронить до проведения его обязательного освидетельствования на предмет обнаружения «боевых знаков»<sup>3</sup>. Там, где это было возможно, такое освидетельствование осуществлялось профессиональными медиками, а где их не было – обычными канцелярскими служащими и даже прикомандированными к местным канцеляриям солдатами.

<sup>3</sup> Аналогичной была практика со случаями скоропостижной смерти, а также с постоянно обнаруживавшимися по всей стране мертвыми телами «незнакомых» людей «мужеска» и «женска полу» (в Петербурге, согласно рапортам губернатора и генерал-полицмейстера, мертвецов едва ли не каждую неделю вылавливали в Неве, Фонтанке и Мойке).

Стандартная формула в донесениях из Петербурга гласила: «А по осмотру штап-лекаря Нилуса на оном теле боевых и опасных знаков не оказалось». На местах текст мог варьироваться: «На котором теле по осмотру нашему, кроме что от удавления на шее, никаких знаков не оказалось» [РГАДА. Ф. 425 (Вятская провинциальная канцелярия). Оп. 5. Д. 413. Л. 1]; или: «А по осмотру и описи явилось на шее от удавления веревкою красновато, а сверх того боевых ран и знаков ничего не имеетца» [РГАДА. Ф. 442 (Путивльская провинциальная канцелярия). Оп. 1. Д. 286. Л. 1].

Что же касается причины самоубийства, когда сам его факт уже не вызывал сомнений, то она интересовала власти в гораздо меньшей степени. В использованных С. Моррисей донесениях петербургского губернатора Екатерине II конца 1780-х – начала 1790-х гг. в качестве причин чаще всего называются пьянство, болезнь, «тоска», «задумчивость», «меланхолия», но и то далеко не всегда. Нередко причины не упоминаются вовсе, но иногда на них указывают косвенные данные, например, описание сопутствовавших случившемуся обстоятельств. На местах подававшиеся в провинциальные, воеводские канцелярии и городские магистраты первоначальные рапорты сотских, десятских и сельских старост, как правило, содержали формулу «неведомо каким случаем». Иногда власти проводили опрос свидетелей или соседей, но поскольку такого понятия, как доведение до самоубийства, законодательство того времени не знало, то даже в тех редких случаях, когда подобные подозрения могли возникнуть, ни в одном из изученных кейсов обвинение никому предъявлено не было. В абсолютном же большинстве случаев свидетели либо подтверждали сведения родственников о болезни покойного, либо отговаривались незнанием. Впрочем, степень усердия властей в выяснении причины самоубийства зависела от социального положения жертвы, и, когда речь шла о дворянине, они проявляли гораздо больше рвения, чем когда самоубийцей был простой крестьянин или дворовый.

Вернемся, однако, к делу В. И. Апухтина. Сразу же заметим, что Сыскной приказ – учреждение, в ведении которого находилось расследование уголовных дел<sup>4</sup> – занялся этим делом не в силу того, что покойник был дворянином, а потому что его дочь усомнилась в добровольном уходе отца из жизни, подозревала в организации убийства отца даже свою мачеху и подала в приказ соответствующую челобитную. Служащие Сысского приказа оперативно на нее отреагировали, арестовав сперва пятерых дворовых Апухтина, затем его жену, а позднее допросив и некоторых других его родственников. Именно содержащиеся в деле допросные речи и позволяют достаточно детально восстановить картину происшедшего. И тут необходимо сказать о некоторых источниковедческих особенностях данного дела.

<sup>4</sup> О Сысском приказе см.: [Акельев, с. 18–32].

С появления классических работ К. Гинзбурга и Э. Ле Руа Ладюри историки активно используют судебно-следственную документацию не только для изучения истории преступности, но и для реконструкции картины мира людей прошлого и истории повседневности. При этом в соответствующей литературе неоднократно высказывались соображения относительно достоверности информации подобного рода документов, поскольку мы имеем дело не с прямой речью, не со свободным рассказом, а с ответами на определенным образом поставленные вопросы, к тому же записанными и, вероятно, отредактированными судебными клерками, причем сами истцы, ответчики и свидетели в своих ответах придерживались определенных целей, в связи с чем могли о чем-то умалчивать, а что-то выдумывать [Лавров, с. 25–37; Сэбиан, с. 58–64; Каменский, 2006, с. 43–48; Тогоева, с. 9–10]. В этом отношении дело Апухтина по-своему уникально, поскольку целый ряд признаков указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с весьма точной записью показаний подследственных. Так, например, все пятеро дворовых рассказали следователям одну и ту же историю, но вопреки тому, что нередко встречается в подобного рода делах, их рассказы об одних и тех же эпизодах не были воспроизведены по единому шаблону, но записаны в разных выражениях. Например, по-разному описывается реакция жены на известие об обнаружении тела мужа. Находившаяся при ней постоянно дворовая девка Авдотья не упомянула об этом вовсе, зато другой дворовый сообщил: «...и она, помещица ево, весьма об нем плакала» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 7]. Третий свидетель увидел эту сцену совсем иначе: «оная жена ево Пелагея Иванова взвыла и ударилась оземь» [Там же. Л. 5 об.]. Все дворовые упоминают о том, что хозяйка разбудила их рано утром и послала искать мужа, однако один из них, рассказывая об этом, счел необходимым уточнить, что он побежал выполнять приказание, «надев на босу ногу сапоги», а записывавший его слова чиновник счел необходимым сохранить эту деталь для будущих историков [Там же. Л. 7]. Помимо этого, каждый из допрашиваемых дополняет показания другого какой-то деталью, каким-то новым именем, в результате чего общая картина произошедшего складывается воедино, как своего рода пазл<sup>5</sup>.

Итак, интересующие нас события разворачивались в начале декабря 1731 г. на московском дворе Василия Ивановича Апухтина, который располагался вблизи Петровских ворот в приходе церкви Знамения Пресвятой Богородицы<sup>6</sup>. В роковой для Апухтина день к нему

<sup>5</sup> На л. 25 об. дела Апухтина имеется подпись протоколиста Сыского приказа Федора Голубцова. По всей видимости, это тот самый мальчик, сын подьячего предшественницы Сыского приказа – Канцелярии земских дел, который еще в 1717 г. оказался замешан в следственном деле, и, быть может, именно этот опыт научил его точно фиксировать слова подследственных [Каменский, 2017, с. 159–178].

<sup>6</sup> По-видимому, имеется в виду построенный во второй половине XVII в. храм Иконы Божией Матери «Знамение» за Петровскими воротами, находящийся ныне по адресу 1-й Колобовский пер., д. 1, стр. 2.



пришел живший по соседству Михаил Карпович Брыкин, которого дворовые и Пелагея Апухтина называют то поверенным, то стряпчим, а то подьячим. Из его собственного допроса выясняется, что он действительно бывший подьячий Артиллерийского приказа, который еще в 1701 г. «за старостию и за болезнию» вышел в отставку, затем до 1708 г. был «у записки строения земляного города», а теперь «кормитца он, Брыкин, от разных дел и ходит за разных людей поверенным челобитным в Судном и в других приказах за делами» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 58]<sup>7</sup>. Вместе Апухтин и Брыкин отправились на Пречистенку к асессору Берг-коллегии Егору Ивановичу Николеву, который по их просьбе ездил к судье Судного приказа Логину Михайловичу Щербачеву<sup>8</sup>. Апухтин и Брыкин ожидали его возвращения у Николева дома, а затем вернулись домой к Апухтину. Брыкин ушел, затем по зову Апухтина вернулся, оставался в доме до вечера и ужинал с женой хозяина. Сам же Апухтин, по показаниям свидетелей, не ел и не пил, хотя и находился в той же комнате и угощал подьячего вином. Затем Брыкин ушел, а Апухтин с женой легли спать. В соседней «светлице» дворовая девка Авдотья с другой дворовой Марфой Моревой до полуночи пряли лен, после чего Марфа ушла спать, а Авдотья улеглась «в другой светлице, из которой ходят в спальню». Ночью жена Апухтина разбудила ее и попросила принести квасу. Авдотья «подала ей, помещице своей, квасу в хрустальном стакане». Впоследствии она показала, что, хотя свет в спальне не зажигали, но хозяин в это время был на «постеле с нею, помещицею ее, на кровати с краю, потому что он, помещик ее, в то время прикашленул». Утром хозяйка снова позвала Авдотью и велела искать мужа, чьи туфли лежали у кровати, а самого его не было. Сперва она послала ее посмотреть, нет ли его в нужнике, «и она, Авдотья, отворя у спальни двери и глядя в нужник из дверей, его, помещика, ис того нужника кликала. И он, помещик, ей голосу не отдал» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–2 об.]. После этого Пелагея Ивановна («в одной рубашке», как уточнил один из дворовых) с Авдотьей побежали будить дворовых. Те стали искать хозяина по всему дому, на дворе и в результате обнаружили его тело в колодце. Сперва тело пытались вытащить с помощью багра, но лишь стащили, как дружно повторяли все свидетели, с мертвеца «портки». Затем у жившего на дворе Апухтина канатчика Ивана Степанова одолжили якорь, и с его помощью тело удалось достать.

Пытаясь установить причину самоубийства Апухтина, Сыскной приказ обратился в Медицинскую канцелярию с просьбой «освиде-

---

<sup>7</sup> В справочнике Н. Ф. Демидовой значится подьячий Пушкикарского приказа Михаил Брыкин, служивший там в 1687–1699 гг.; в 1689 г. он был уже в чине старого подьячего [Демидова, с. 88]. Надо полагать, что ко времени описываемых здесь событий это был человек весьма преклонного возраста.

<sup>8</sup> Отец екатерининского вельможи действительного тайного советника и сенатора Алексея Логиновича Щербачева (1720–1802), прославившегося тем, что за 36 часов доставил принца Генриха Прусского из Петербурга в Москву.



тельствовать дохторами, не от сомнения ль оной Апухтин в показанном колодезе утопился или от какия отравы» [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 15]. Медицинское освидетельствование констатировало:

Снаружи оного тела следующее имелось: на правом боку у печени свыше четвертого и пятого ребра розшибено вниз, что некоторая часть кожи оцерапнута, сверх спины кости и лице. В таком же образе, но токмо поменьше, на левом колене також натибие эпидермис или на бердечие, второю частию кожи до ноги кожа оцерапнута имелась. Все сие оцерапленные места, мнится, зделались егда тело на древо, камень или не на ровное что упало. А по открытии живота нутреннее пересмотрено все натурально явно, токмо желудок много чистою водою наполнен был; по открытии також груди токмо легкое черно было и кровью полно явилось; прочее все натурально было; по снятии черепа пересмотрены дурапия матер или плев открывающий мозг, токмо артерии или жилы оных плев кровью полны были. Из оного усмотрения мнится оной человек токмо от того умер, что утонул, о чем многая вода в желудке и прочее объявляет, розбитие а не другого какого убивства и не отравы, и Сыскной приказ о том благоволит ведать [Там же. Л. 17].

Не пытаясь разобраться в медицинской терминологии, констатируем, что, согласно этому заключению, Апухтин утопился сам, без постороннего вмешательства. Тем не менее, следователи на этом не успокоились и попытались установить причину, которая его к этому подтолкнула. Прежде всего выяснилось, что в Судном приказе рассматривалось тяжёбное дело Апухтина со стольником Афанасием Тимирязевым, который обвинял его в отбитии у него стада «черкасских баранов». Все дворовые заметили, что вечером рокового дня «сидел он, Апухтин, в то время у печи, повеся голову, для того что он об означенном деле своем тосковал», «об оном деле он, помещик ево, задумывался и тужил, а оной стряпчей ево, помещика, в том сомнении разговаривал». Подтвердила эти наблюдения и вдова Апухтина:

...и в разговорех оной муж ее тасковал об означенном деле и показанной де Брыкин, также и она, Полагая, ево, мужа своего, в том розговаривали. Также де и напред сего оной муж ее о том Тимирязеве деле печалился и был сумнителен, от которой печали ево, мужа ее, приезжали в дом и розговаривали князь Борис, да князь Федор Мещерские<sup>9</sup>, да Бугырского полку капитан Петр Борисов [Там же. Л. 4, 6 об., 20–20 об.].

<sup>9</sup> Точно установить князей Бориса (в 1731 г. – капитан-лейтенанта) и Федора (в 1731 г. – поручика лейб-гвардии Преображенского полка) Мещерских по имеющимся родословным росписям не удается. В своих показаниях они упоминают отца, стольника Василия Алексеевича. Вероятно, князь Федор Васильевич – это будущий генерал-поручик и комендант Санкт-Петербургской крепости, умерший в 1756 г.

Пелагея Ивановна также показала, что летом 1731 г. Апраксин находился в своих имениях в Карачевском и Орловском уездах, и оттуда до нее доходили известия о его конфликте с родным братом, отставным капитаном Дмитрием Апухтиным, а также о его сумасшествии. Об этом, в частности, ее извещали родственники мужа капитан Глуховского полка Иван Семенович Неплюев и сержант Петр Полтев, а также те же князья Мещерские, последние – со слов своего приказчика.

Казалось бы, установления факта, что самоубийца находился в «сомнении», да еще и, вероятно, пребывал не в своем уме, было вполне достаточно, чтобы закрыть дело, но Сыскной приказ решил в данном случае идти до конца. К следствию были привлечены еще несколько дворовых, а также все лица, упомянутые в допросе Пелагеи Ивановны. В результате перед следователями предстала весьма своеобразная картина «озорничеств» и «шалостей» отставного майора. Так, его повар Наум Шеин показал, что Апухтин

...ездил на охоту и, наезжая на разных проезжих людей, и тех проезжих людей бивал незнамо за что. Да он же, помещик ево, в разныя времена, раздирая на себе порты и надев пеструю рубаху и розцветясь розными цветами, и хаживал бес порток по той деревне и по дворам крестьянским, а имянно у старосты Филипа, а чей сын запаметовал, да у Василья Маркова, вшед в ызбы, на полках розбивал горшки, да ходил на боярском дворе и у люцких изб выбивал ухватом окна... да он же, помещик ево, надев на себя свой зеленой кафтан, а шапку на голове разцветя розными цветами и собрав людей своих... и ис той деревни ездили с трубами, что скликают сабак, да з дутками в том же Карачевском уезде в деревню Кузминку к брату своему двоюродному Апухтину... да в село Руднево к невестке своей Андреевской жене Апухтина вдове Марфе Ивановой дочери. И оные де брат помещика ево и невеска того помещика их за показанное шаловство бранили [Там же. Л. 34–35 об.].

Приказчик Мещерских Еремей Ларионов дополнил этот рассказ следующими подробностями:

...в Карачевском уезде в село Руднево приезжал неоднократно маэор Василей Иванов сын Апухтин ко вдовам Авдотье Федоровой дочери, да к Марфе Ивановой дочери Апухтиным, и в те приезды он Апухтин, в небытность оных вдов, людей и крестьян розгонял для того что он, Апухтин, безумен; также их священник Матвей от него, Опухтина, ухоронялся, да в том же селе с попадьи Ивановой дочери, а как имя не упомянит, он, Апухтин, снял шубу, да в то ж число он же, Опухтин, с орлянина с посацкого человека с Шушмонова снял кафтан да у него отнял лошадь. <...> Да он же, Опухтин, в не уме ж своем, прибрав из дворовых людей молодых и ис крестьян человек з десять и больше, и приезжал в помянутое село Руднево з железным ружьем и з деревянным под видом бутто (нрзб. одно слово. – А. К.) и послал служащих своих к означенным вдовам

Опухтиным, а сам он, Опухтин, пришел в церковь во время божественной литургии, перепоясався кушаками по-дьяконские и шарф по-афицерски, и на шарфе повешен был нож, а голову Опухтин повезал платком поженски и говорил в той церкви во время пения помянутой вдове Марфе Опухтиной, чтоб утварь церковную и образы разделить пополам, а образ месной Пресвятыя Богородицы Одигири Смоленской хотел он, Опухтин, свести к себе в деревню Ворошилово. Да он же, Опухтин, говорил всенародно в той церкви, чтоб месной образ архистратига Михаила архангела разделить со оною Опухтиною пополам. А тех же сосудов и образов ему не дали, и говорил он, Опухтин, в той же церкви в не уме своем всякие смехотворные слова, и смеялся, и ево, Еремея, он, Опухтин, в той церкви называл оглашенным и сказал в той церкви разных господ прикащиком, что де к нему, Опухтину, пришлютца салдаты Преображенского и Семеновского полков, что то де их прикащиков перевешает, а иных сошлет на каторгу. А наипаче говорил вотчины лейб-гвардии Преображенского полку капитана-порутчика князь Ивана Дашкова сельца Сурьянина прикащику Василью Плошенскому [РГАДА. Ф. 382. Оп. 1. Д. 38. Л. 61–62].

Дворовый Иван Захаров жаловался:

...помещик ево в той деревни Ворошиловой ходил на мельницу и, взяв из ларя муки, и осыпал себе голову и платье. И от того де безумия он, Иван, ево, помещика своего разговаривал, и за то он, помещик ево, Ивана, бивал езжалю плетью и, бив, запер ево, Ивана, в половню, в которую кладетца гуменной корм, и был он, Иван, в той половне заперт полторы недели, и, вынув ис той половни ево, Ивана, з боярского своего двора сослал [Там же. Л. 70].

Мало этого. Тот же Наум Шеин со слов одного из апухтинских крестьян утверждал, что его помещик дважды совершал попытки суицида, один раз бросившись в реку, а в другой – в костер.

Вполне очевидно, что, если приведенные показания были правдивыми, поведение Апухтина действительно было неадекватным и должно было навести на мысль о его безумии. Однако было ли это каким-то образом связано с его «сомнениями» и тоской по поводу тяжбы с Тимирязевым? Князь Мещерские показали, что

...оной Апухтин, будучи в доме у них, Мещерских, также и в своем доме бывал печален и сумнителен. И они, Мещерские, его, Апухтина, спрашивали, чего ради он так печалитца, и он де, Апухтин, сказывал им, Мещерским, что приказныя ево дела сокрушают, от которых головою болен [Там же. Л. 40 об.].

Таким образом, сам Апухтин сознавал свое безумие и считал, что причина ему именно в тяжбных делах. Однако тяжбы из-за имущества с родственниками и соседями по имению, как хорошо известно,

были повседневной практикой русского дворянства XVIII столетия и не представляли собой ничего экстраординарного. Судя по всему, ключ к ответу на вопрос, почему Апухтин воспринимал их особенно остро, содержится в его словах, сказанных жене за несколько часов до самоубийства:

...и оной муж ее говорил ей, Пелагее, наодине, что де он, Апухтин, показанного Темирязева дела опасен, а ежели де ево, Апухтина, по тому делу обвинят, то де он, Апухтин, будет человек подозрительной, и будут де на него ис Корачевского уезду просить по явочным челобитным в озарничестве многия люди и по тем челобитным ево, Апухтина, роспытают, и о том весьма печалился и сказывал он, муж ее, ей, Полагеи, что де от той печали у него в голове мозг повредился [Там же. Л. 20].

Итак, Апухтин испытывал не просто «сомнение», но страх, что он будет объявлен «подозрительным», то есть, по сути, неблагонадежным человеком, и будет подвергнут уголовному преследованию и пытке. По существу, это был, несомненно, усиленный его душевной болью страх перед репрессивной государственной машиной – то, что Е. В. Анисимов назвал Великим государственным страхом<sup>10</sup>. Попавший в жернова не знакомой с понятием презумпции невинности российской государственной судебной машины XVIII в. человек знал, что доказывать свою невинность ему предстоит самому, что вне зависимости от того, виноват он или нет, ему предстоит пытка, и уже одно это должно было рождать чувство страха и безысходности. Однако насколько справедливо подобное умозаключение?

У современных исследователей, работающих с судебно-следственной документацией XVIII столетия, поведение подследственных порой вызывает недоумение. Вот человек на третьей пытке меняет свои первоначальные показания. Не выдержал? Но ведь он знает, что, если бы в третий раз заявил о своей невинности, то, вероятно, был бы отпущен, а теперь ему предстоят еще три пытки! А потом тот же человек, уже пережив по крайней мере две серии пыток, заявляет, что оговорил себя, зная, что теперь его будут пытаться вновь. А вот уже осужденный, прошедший через серию страшных пыток и уже фактически ставший инвалидом, ожидает исполнения приговора – смертной казни или телесного наказания – ожидает, как кажется, пассивно, покорясь судьбе и не пытаясь сам прервать собственные мучения. Хорошо известно, что физическое насилие было нормой того времени и воспринималось совершенно иначе, чем в наши дни. Но значит ли это, что человек XVIII в. был менее чувствителен, менее восприимчив к физической боли, легче переносил ее, меньше ее боялся?

<sup>10</sup> Это словосочетание неоднократно встречается на страницах книги Е. В. Анисимова «Дыбы и кнут: Политический сыск и русское общество XVIII века» [Анисимов].

Чего в действительности боялся Апухтин – физической боли или самого факта столкновения с государством? А может быть, его страх следует интерпретировать как просто страх перед наказанием?

В 1710 г. солдат Кузьма Мотрохин, приехав из своего села в Тамбов, где он собирался пожаловаться на «конского пастуха на Савелья Сидорова в покошенном сене», узнал, что его разыскивают, поскольку «того ж села солдат Устин Гущин подал на него в Тамбове в приказной избе от всего села изветную челобитную». Выехав из города, Кузьма, «убоясь того их изветного челобитья», «с печали своей в не уме, с лошади слесчи, вынута нож свой из ножен и брюхо себе до черев перерезал собою» [РГАДА. Ф. 402 (Азовская губернская канцелярия). Оп. 1. Д. 62. Л. 3 об.]<sup>11</sup>. Мотрохин остался жив и в своих объяснениях указывал, что поданная на него челобитная – это месть за то, что он обвинял своих односельчан в укрывательстве беглых. В чем обвиняли его самого, из дела неясно, но очевидно, что именно страх перед неизбежным расследованием привел его к попытке суицида.

В ноябре 1765 г. содержащийся в Верхотурской земской избе на цепи под караулом ямщик Федор Палаумов бежал и покончил с собой. При освидетельствовании тела были обнаружены «по спине от битья неведомо чем багровые продольные пятна». Из других документов дела выясняется, что Палаумов «за побег от своей команды, за неотправления ямской гоньбы и за неплатеж мирских [денег] побором батошьем наказан» [РГАДА. Ф. 474 (Верхотурская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 221. Л. 1, 7 об.]. В июне 1778 г. зарезался пойманный на воровстве и избитый за это выборным и десятским однодворец Евдоким Голев [РГАДА. Ф. 483 (Добренская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 483. Л. 1–106]<sup>12</sup>. В том же 1778 г. в г. Севске покончила с собой дворовая девка Агапия Никитина дочь. Перед этим она «за разные ее непорядки наказана была плетью», бежала, а когда вернулась, у нее нашли «завязанное в маленькой ветошке незнаемо какое зелье». Девушка призналась, что с его помощью собиралась отравить хозяина и хозяйку. На следующее утро хозяин собирался представить ее в Севскую канцелярию «для допроса», а на ночь она «скована была в железы», но успела принять яд [РГАДА. Ф. 442 (Путивльская провинциальная канцелярия). Оп. 1. Д. 1493. Л. 1–3 об.]<sup>13</sup>. Точно так же ночью, накануне отвода за побег в воеводскую канцелярию, в 1760 г. свел счеты с жизнью монастырский крестьянин Василий Крундышев [РГАДА.

<sup>11</sup> Мотрохин, видимо, не случайно использовал словосочетание «изветная челобитная» – так чаще всего называли доносы политического и клеветнического характера (См.: [Анисимов, гл. 3]).

<sup>12</sup> В данном случае власти сочли, что выборный и десятский превысили свои полномочия, за что сами были наказаны батогами.

<sup>13</sup> Примечательно, что хозяином этой дворовой был «севской купец и красочной фабрики содержатель», но и в его хозяйстве имелись и плеть, и «железа».

Ф. 557 (Пошехонская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 1722. Л. 1]. В 1771 г. «в доме умершаго статского советника Гаврилы Замятни-на дочерей девиц дворовой человек Никифор Емельянов, содержащийся за побег в люцкой избе скованой, перерезал себе ножом горло и умре» [РГАДА. Ф. 16 (Внутреннее управление). Д. 481. Ч. 3. Л. 620 об.]. В 1786 г. аналогичным образом поступил другой «крестьянин, пойманный из бегов, находясь под стражею» [РГАДА. Ф. 16. Д. 526. Ч. 1. Л. 208 об.]. В том же году в Петербурге «капрал Иванов, веденный за присмотром к капитану, бросаюсь с Самсониевскаго мосту в Неву, утонул» [Там же. Л. 282]. Два года спустя «княгини Волконской в деревне Новой Выборгского полку беглой салдат, веденной крестьянами по поимке с покраденными у дьячка пожитками в то селение, вырвавшись от них, бросился с берегу в Малую Неву и утонул» [Там же. Ч. 3. Л. 98 об.]. В апреле 1789 г.

...препровождаемый из Лути в Санкт-Петербург колодник новоторжской мещанин Антип Сыромятников, пойманный там с похищенными им у новоторжского купца Цвилева по бытности в прикащиках деньгами 2813-тью рублями, во время отдохновения в Рождествене по неосторожности препровождавших его караульных в намерении себя умертвить резался по горлу, но вскоре от того удержан, остался жив и к излечению отослан в городскую больницу [Там же. Ч. 4. Л. 122–122 об.].

Не удалось спасти зарезавшегося крепостного крестьянина Ивана Федорова, который был пойман на заставе

...едущей в саних на двух украденных им золотых дел у мастера Петра Ноштрема лошадях, и, как введен был в кардегардию, то вскорости, выхватя из рукава нож, разрезал себе в двух местах брюхо [РГАДА. Ф. 16. Д. 481. Ч. 6. Л. 71].

Страх перед наказанием, как свидетельствуют донесения петербургского губернатора императрице, рассматривался властями в качестве вполне естественной причины самоубийств. Так,

...в 3-й Адмиралтейской части, находившийся в услужении у надворного советника Преснякова вольный человек Иоган Гутофельт, украв у него несколько вещей и денег 50 рублей, промотал и, убоясь наказания, бросился в Екатерининской канал и утонул.

В этом же канале в 1772 г. утонул беглый солдат, которого вели со связанными руками под конвоем, а в 1776 г. – дворовая девка обер-секретаря Сената А. Терского Афимья Григорьева дочь, которая, «покравав пожитки ево, Терскаго, бежала, и, как дворовыя помещика ее люди, увидя, хотели ее поймать, то она, бросаюсь в воду, утонула». Аналогичный случай произошел на Крестовском острове, где



...здешней мещанин Шилов, будучи на рыбной ловле, у спящего портного, принадлежащего Его светлости князь Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, вытащил золотые с цепочкою часы. И сколько скоро оные у него найдены, то, побежав от гонящихся для взятъя его по берегу реки Малой Невки, бросился во оную и утонул.

Вотчины графини Головкиной деревни Заполья крестьянин Иванов на веревке в доме своем повесился. По исследованию исправника,

...к избежанию следуемаго наказания за украденную им пред тем крестьянскую лошадь во 2-й части Адмиралтейскаго ведения камисар подпоручичья чина Федор Сысоев в квартире своей по высылке под видом разных надобностей домашних своих удавился. По бытности его у денежной казны, подозревают о похищении оной [РГАДА. Ф. 16. Д. 526. Ч. 4. Л. 138–138 об., 236, 159; Д. 481. Ч. 4. Л. 8; Ч. 6. Л. 24].

Однозначно объяснил причины своего самоубийства в письме губернатору застрелившийся земский исправник секунд-майор Ячменской. Он писал,

...что он то учинил над собою, пришед в огорчение от доносу тамошняго стряпчача во взятках, в употреблении на свою надобность коронных крестьян и в пристрастном одному из них допросе, в чем его указом губернского правления велено было уездному суду исследовать и в случае обличения прислать к суждению в палату Уголовного суда [Там же. Л. 188].

Страх перед наказанием, сопряженным с неизбежными физическими мучениями, соединенный со страхом перед бездушной карательной государственной машиной, перед которой почти не было никаких шансов оправдаться – все это в комбинации и составляло то, что можно назвать *государственным страхом* русского человека XVIII в. Зачастую этот страх порождал отчаяние, чувство предопределенности, бессилия и неизбежности несчастья, которые и приводили к мысли о самоубийстве. Отметим при этом: описанные выше случаи показывают, что этот страх был равно характерен для представителей самых разных социальных слоев. Конечно, не случайно в представленной выборке меньше всего дворян – степень их защищенности была несомненно выше, чем у солдат и крепостных, но и они, как видно, не были избавлены от государственного страха.

Прежде чем принять это в качестве окончательного вывода, нужно сделать два важных дополнения. Во-первых, среди самоубийц XVIII в. были крепостные, кончавшие с собой из страха перед наказанием со стороны своих хозяев. Так, к примеру, в 1780 г. крепостной повар Иван Карчугеев получил от своего хозяина фабриканта Карпова пощечины за то, что неправильно свеживал барана. Хозяин

при этом обещал наказать его плетью. Спустя полчаса повар зарезался [РГАДА. Ф. 482 (Дмитровская воеводская канцелярия). Оп. 1. Д. 13354. Л. 1–5]. Конечно, это был не единичный случай подобного рода, но представляется очевидным, что помещик являлся для крепостного таким же олицетворением Власти, как и государство – Власти над его телом и его жизнью.

Во-вторых, возникает вопрос: был ли феномен государственно-го страха порождением именно XVIII столетия? Здесь вряд ли стоит повторять то, что хорошо известно об изменении на рубеже XVII–XVIII вв. самого представления о государстве, не воспринимавшемся более как царская вотчина, о стремлении созданного петровскими реформами регулярного государства к тотальному контролю за подданными, выразившемся в том числе во введении паспортной системы, об ужесточении уголовного законодательства, о развитии судебной системы и т. д. Все это верно, хотя реальная картина была много сложнее и многообразней. В ней следует учесть и постепенную гуманизацию русского общества, и формирование понятий подданства и личной чести, и складывание русского патриотизма, разделение в сознании образованной части общества понятий «государство» и «Отечество», и многое другое. Очевидно, однако, что отделение государства от фигуры государя превратило его, государство, в самостоятельный и во многом обезличенный субъект, который невозможно было увидеть, с которым нельзя было вступить в диалог, но который, хотя и незримо, но осязаемо присутствовал в жизни каждого и от которого нельзя было спрятаться. Прав, вероятно, Е. В. Анисимов, писавший, что А. Н. Радищев упал в обморок, узнав о том, что к нему приехали от С. И. Шешковского, потому что начальник Тайной экспедиции Сената был для него «олицетворением государственного страха», «могущественным исчадием ада, символом той страшной для частного человека слепой силы государства, которая могла сделать с любым человеком все, что угодно» [Анисимов, с. 133].

### Список литературы

*Акельев Е. В.* Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М. : Молодая гвардия, 2012. 413 с.

*Анисимов Е. В.* Дыба и кнут : Политический сыск и русское общество XVIII века. М. : Новое лит. обозрение, 1999. 720 с.

*Бошковица Н.* Мир русской женщины семнадцатого столетия / авториз. пер. с нем. Р. А. Гимадеева. СПб. : Алетей, 2015. 523 с.

*Демидова Н. Ф.* Служилая бюрократия в России XVII века (1625–1700) : биограф. справ. М. : Памятники ист. мысли, 2011. 717 с.

*Ермолин Е. А., Севастьянова А. А.* Воспламененные к отечеству любовью. Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1990. 190 с.

*Каменский А. Б.* Повседневность русских городских обывателей : Исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. М. : РГГУ, 2006. 403 с.

*Каменский А. Б.* Россия в XVIII столетии : Общество и память. СПб. : Алетей, 2017. 338 с.

Красиков В. И. Интеллектуальное самоубийство // *Credo New* : теор. журн. : [сайт]. URL: <http://credonew.ru/content/view/264/27/> (дата обращения: 12.02.2019).

Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь» : Очерки политической истории послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань : П. А. Трибунский, 2003. 565 с.

Лавров А. С. Колдовство и религия в России : 1700–1740 гг. М. : Древлехранилище, 2000. 572 с.

Ляровский А. «Простите, дорогие папа и мама»: родители, дети и борьба с подростковыми самоубийствами в России конца XIX – начала XX века. СПб. : Крига, Победа, 2017. 599 с.

Марасинова Е. Н. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века : Очерки истории общественного сознания. М. : Новое лит. обозрение, 2017. 511 с.

Паперно И. Самоубийство как культурный институт. М. : Новое лит. обозрение, 1999. 252 с.

Полотовская И. Л. Смерть и самоубийство: Россия и мир: историко-культурологическое развитие проблематики с древнейших времен до наших дней. СПб. : Дмитрий Буланин, 2010. 327 с.

РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 481. Ч. 3, 4, 6; Д. 526. Ч. 1, 3, 4; Ф. 372. Оп. 1. Д. 38; Ф. 402. Оп. 1. Д. 62; Ф. 425. Оп. 1. Д. 413; Ф. 442. Оп. 1. Д. 286, 1493; Ф. 474. Оп. 1. Д. 221; Ф. 482. Оп. 1. Д. 13354; Ф. 483. Оп. 1. Д. 483; Ф. 557. Оп. 1. Д. 1722.

Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий : в 2 т. СПб. : А. С. Суворин, 1886. Т. 1. 620 с.

Сэбиан Д. У. Голоса крестьян и тексты бюрократов: нарративная структура в немецких протоколах начала Нового времени // *Прошлое – крупным планом: современные исследования по микроистории*. СПб. : Алетейя, 2003. С. 58–89.

Тогоева О. И. Дела плоти : Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики. М. ; СПб. : Центр гуманитар. исслед., 2018. 340 с.

Трефолов Л. Н. Предсмертное завещание русского атеиста // *Ист. вестн.* 1883. Т. 11. Янв. С. 224–226.

Фраанье М. Прощальные письма М. В. Сушкова : (О проблеме самоубийств в русской культуре конца XVIII века) // XVIII век. СПб. : Наука, 1995. Сб. 19. С. 147–167.

Чхартишвили Г. Ш. Писатель и самоубийство. М. : Новое лит. обозрение, 2001. 574 с.

Morrissey S. K. *Suicide and the Body Politic in Imperial Russia*. Cambridge, UK ; N. Y. : Cambridge Univ. Press, 2006. 384 + XV p.

Pinnow K. M. *Lost to the Collective : Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929*. Ithaca : Cornell Univ. Press, 2010. 276 + XI p.

## References

Akel'ev, E. V. (2012). *Povsednevnyaya zhizn' vorovskogo mira Moskvy vo vremena Van'ki Kaina* [The Daily Life of Moscow Thieves' World in the Time of Van'ka Kain]. Moscow, Molodaya gvardiya. 413 p.

Anisimov, E. V. (1999). *Dyba i knut: Politicheskii sysk i russkoe obshchestvo XVIII veka* [The Rack and the Whip: Political Investigation and 18<sup>th</sup>-Century Russian Society]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 720 p.

Boskovska, N. (2015). *Mir russkoi zhenshchiny semnadsatogo stoletiya* [The Russian Woman in the 17<sup>th</sup> Century] / transl. by R. A. Gimadeev. St Petersburg, Aleteiya. 523 p.

Chkhartishvili, G. Sh. (2001). *Pisatel' i samoubiistvo* [Writer and Suicide]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 547 p.

Demidova, N. F. (2011). *Sluzhilaya byurokriya v Rossii XVII veka (1625–1700). Biograficheskii spravochnik* [Service Bureaucracy in 17<sup>th</sup>-Century Russia. A Biographical Reference Book]. Moscow, Pamyatniki istoricheskoi mysli. 717 p.

Ermolin, E. A., Savast'yanova, A. A. (1990). *Vosplamenennyye k otechestvu lyubov'yu* [Blazing with Love for the Fatherland]. Yaroslavl', Verkhne-Volzhscoe knizhnoe izdatel'stvo. 190 p.

Fraanje, M. (1995). Proshchal'nye pis'ma M. V. Sushkova: (O probleme samoubiistv v russkoi kul'ture kontsa XVIII veka) [Farewell Letters of M. V. Sushkov (On the Problem of Suicide in Russian Culture in the Late 18<sup>th</sup> Century)]. In *XVIII vek*. St Petersburg, Nauka. Vol. 19, pp. 147–167.

Kamenskii, A. B. (2006). *Povsednevnost' russkikh gorodskikh obyvatelei: Istoricheskie anekdoty iz provintsial'noi zhizni XVIII veka* [The Everyday Life of Russian City Dwellers: Historical Anecdotes from Provincial Life of the 18<sup>th</sup> Century]. Moscow, Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet. 403 p.

Kamenskii, A. B. (2017). *Rossiya v XVIII stoletii: Obshchestvo i pamyat'* [Russia in the 18<sup>th</sup> Century: Society and Memory]. St Petersburg, Aleteiya. 338 p.

Krasikov, V. I. (N. d.). Intellektual'noe samoubiistvo [Intellectual Suicide]. In *Credo New: teoreticheskii zhurnal* [website]. URL: <http://credonew.ru/content/view/264/27/> (mode of access: 12.02.2019)

Kurukin, I. V. (2003). *Epokha "dvorskikh bur'": Ocherki politicheskoi istorii poslepetrovskoi Rossii, 1725–1762 gg.* [The Epoch of "Court Storms": Essays on the Political History of Russia after Peter the Great, 1725–1762]. Ryazan', P. A. Tribunskii. 565 p.

Lavrov, A. S. (2000). *Koldovstvo i religiya v Rossii. 1700–1740 gg.* [Witchcraft and Religion in Russia. 1700–1740]. Moscow, Drevkekhranilishche. 572 p.

Lyarskii, A. (2017). "Prostite, dorie papa i mama": roditeli, deti i bor'ba s podrostkovymi samoubiistvami v Rossii kontsa XIX – nachala XX veka ["Forgive Me, Dear Father and Mother": Parents, Children, and the Fight against Teenage Suicide in Russia in the Late 19<sup>th</sup> and Early 20<sup>th</sup> Centuries]. St Petersburg, Kriga, Pobeda. 599 p.

Marasinova, E. N. (2017). "Zakon" i "grazhdanin" v Rossii vtoroi poloviny XVIII veka: Ocherki istorii obshchestvennogo soznaniya ["Law" and "Citizen" in Russia in the Second Half of the 18<sup>th</sup> Century: Essays on the History of Public Consciousness]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 511 p.

Morrissey, S. K. (2006). *Suicide and the Body Politic in Imperial Russia*. Cambridge, UK, N. Y., Cambridge Univ. Press. 384 + XV p.

Paperno, I. (1999). *Samoubiistvo kak kul'turnyi institut* [Suicide as a Cultural Institution]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. 252 p.

Pinnow, K. M. (2010). *Lost to the Collective: Suicide and the Promise of Soviet Socialism, 1921–1929*. Ithaca, Cornell Univ. Press. 276 + XI p.

Polotovskaya, I. L. (2010). *Smert' i samoubiistvo. Rossiya i mir: istoriko-kul'turologicheskoe razvitiye problematiki s drevneishikh vremen do nashikh dnei* [Death and Suicide: Russia and the World: The Historical and Cultural Development of Issues from Ancient Times to the Present Day]. St Petersburg, Dmitrii Bulanin. 327 p.

RGADA [Russian State Archive of Ancient Acts]. Stock 16. List 1. Dos. 481. Part 3, 4, 6; Dos. 526. Part 1, 3, 4; Stock 372. List 1. Dos. 38; Stock 402. List 1. Dos. 62; Stock 425. List 1. Dos. 413; Stock 442. List 1. Dos. 286, 1493; Stock 474, List 1. Dos. 221; Stock 482. List 1. Dos. 13354; Stock 483. List 1. Dos. 483; Stock 557. List 1. Dos. 1722.

Rummel', V. V., Golubtsov, V. V. (1886). *Rodoslovnyi sbornik russkikh dvoryanskikh familii v 2 t.* [The Genealogical Collection of Russian Noble Families. 2 Vols.]. St Petersburg, A. S. Suvorin. Vol. 1. 620 p.

Sabean, D. W. (2003). Golosa krest'yan i teksty byurokratov: narrativnaya struktura v nemetskikh protokolakh nachala Novogo vremeni [Peasants' Voices and Bureaucratic Texts: Narrative Structure in the German Protocols at the Beginning of the Modern Era]. In *Proshloe – krupnym planom: sovremennye issledovaniya po mikroistorii*. St Petersburg, Aleteiya, pp. 58–89.

Togoeva, O. I. (2018). *Dela ploti: intimnaya zhizn' lyudei Srednevekov'ya v prostranstve sudebnoi polemiki* [Matters of the Flesh: The Intimate Life of People of the Middle Ages in the Space of Judicial Controversy]. Moscow, St Petersburg, Tsentr gumanitarnykh issledovaniy. 340 p.

Trefolev, L. N. (1883). Predsmertnoe zaveshchanie russkogo ateista [The Deathbed Testament of a Russian Atheist]. In *Istoricheskii vestnik*. Vol. 11. Jan., pp. 224–226.